

Константин Арсеньев

Дело Рыбаковской



Константин Константинович Арсеньев
Дело Рыбаковской
Серия «Судебные речи»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2827275

Аннотация

«Александра Рыбаковская обвинялась в том, что 22 февраля 1866 г. с целью убийства Евгения Лейхфельда, с которым она долгое время состояла в интимной связи, нанесла ему выстрелом из пистолета тяжелую рану в грудь, от которой последний через несколько дней скончался...»

Константин

Константинович Арсеньев

Дело Рыбаковской

Александра Рыбаковская обвинялась в том, что 22 февраля 1866 г. с целью убийства Евгения Лейхфельда, с которым она долгое время состояла в интимной связи, нанесла ему выстрелом из пистолета тяжелую рану в грудь, от которой последний через несколько дней скончался.

Сложность настоящего дела состояла в том, что прямых доказательств, свидетельствовавших об умысле Рыбаковской на убийство Лейхфельда, не было. Потерпевший, будучи некоторое время после получения ранения в сознании, сообщил, что Рыбаковская намеренно стреляла в него. По его словам, она не только прицелилась для выстрела, но и выбрала для этого соответствующее положение и хорошенько к этому подготовилась. Показание Лейхфельда запротоколировано не было. Присутствовавшие же при этом его показания свидетели передавали его слова по-разному, что не давало возможности воспроизвести их доподлинно. Подсудимая – Александра Рыбаковская – отрицала виновность в умышленном убийстве. Она объяснила, что убила Лейхфельда неосторожно. По ее словам, это произошло неожиданно для нее, после того, как она зарядила револьвер и хо-

тела его убрать.

Обвинительным заключением действия Рыбаковской квалифицировались как преднамеренные.

Защитник К. К. Арсеньев, всесторонним анализом каждого из свидетельских показаний, обстоятельно показывает отсутствие умысла в действиях подсудимой.

Дело Рыбаковской рассматривалось С.-Петербургским окружным судом 18 октября 1868 г.

* * *

Господа присяжные заседатели! Вы могли убедиться из речи товарища прокурора, что в настоящем деле решение ваше зависит прежде всего от того взгляда, который образовался у вас на слова Лейхфельда. Вы уже могли убедиться, что в настоящем деле нет, собственно говоря, ни одной улики против подсудимой, кроме тех слов, которые различные лица, различные свидетели приписывают покойному Лейхфельду. Здесь мы встречаемся прежде всего с таким важным пробелом, которого не могли пополнить никакие показания свидетелей, – с таким пробелом, который ставит защиту точно так же, как и обвинение, в положение чрезвычайно затруднительное. Вы знаете, что Лейхфельд жил после нанесения ему раны еще 10 дней, рана была нанесена 22 февраля, а умер он 4 марта; вы слышали, что, по крайней мере, по мнению доктора, который его лечил и который дол-

жен был, следовательно, доставлять судебной и административной власти сведения о его положении, по мнению этого доктора, больной находился большую часть времени в полном уме и здравой памяти; вы знаете, что несмотря на это к течению 10 дней от него не было отобрано никакого формального показания. Вы слышали, что в самый день привоза Лейхфельда в больницу, когда, по словам главного доктора Германа, Лейхфельд находился в полном сознании, ему было сделано нечто вроде допроса надзирателем Станевичем; но вы знаете вместе с тем, что результат этого допроса не был облечен в установленную форму. На мой вопрос относительно причины такого совершенно непонятного упущения Станевич отвечал, что не считал нужным составлять акт по этому предмету, потому что при показании Лейхфельда были свидетели, фамилии которых он записал. Но вы могли убедиться, что значат свидетели в таком случае, когда надо передать показание лица слабого, может быть, едва говорящего. Если несколько человек вместе слышали слова такого лица и затем должны передать его показание через более или менее продолжительный промежуток времени, то вы знаете, что показания свидетелей ни в каком случае, даже при полном их согласии между собою, чего в настоящее время нет, конечно, не могут заменить показания, данного и подписанного формально тем самым лицом, от которого оно отбирается. Я укажу прежде всего на тот факт, что если бы показание, данное Лейхфельдом 22 февраля в день привоза его в

больницу, было действительно до такой степени против Рыбаковской, как должно думать, судя по показаниям свидетелей, то незаписание его в протокол становится еще более непонятным, становится совершенно необъяснимым. Когда человек умирающий, человек, которому, может быть, как видно из скорбного листа, оставалось тогда несколько часов жизни, относительно которого не были уверены, что он проживет более двух часов, – когда такой человек дает показание, заключающее в себе одно из самых тяжких обвинений, которые могут только встретиться, то без сомнения на обязанности тех, кто отбирает это показание, лежит немедленно облечь его в ту форму, которая исключает всякое дальнейшее сомнение. Этого сделано не было, и это первый факт, первое обстоятельство, вследствие которого я позволяю себе предполагать, что показание Лейхфельда вовсе не было такого содержания, которое в настоящее время ему стараются приписать. Таким образом, мы поставлены в печальную необходимость собирать совершенно разноречивые сведения о том, что говорил Лейхфельд, из показаний разных лиц, находившихся с ним в различных отношениях, говоривших с ним в разное время и по различным поводам. Товарищ прокурора, соглашаясь с тем, что в этих показаниях существуют во многих отношениях существенные противоречия, старается доказать, что самые эти противоречия должны давать в ваших глазах большее значение этим показаниям, что самые эти противоречия служат лучшим доказатель-

ством того, что они даются вполне чистосердечно. Это было бы, может быть, справедливо, если бы противоречия между показаниями свидетелей ограничивались только одними второстепенными, побочными обстоятельствами, но мы видим, что они касаются многих обстоятельств, весьма существенных, весьма важных. Прежде всего припомним, когда, при каких обстоятельствах давал это показание Лейхфельд. Мы знаем, что Лейхфельд был привезен в больницу утром 22 февраля, затем после довольно значительного промежутка был перенесен в перевязочное отделение. Здесь явился старший доктор, и здесь были предложены в, первый раз вопросы о том, каким образом случилось известное вам происшествие. Мы знаем из показания Станевича, что он был в Обуховской больнице 22 февраля один раз; мы знаем из показания доктора Германа, подтвержденного самим Станевичем, что он присутствовал при показании, отобранном от Лейхфельда доктором. Мы знаем, что затем Станевич удалился вместе с Рыбаковской из больницы; следовательно, показания Германа и Станевича, по всей вероятности, относятся к одному и тому же моменту; к тому же моменту, по всей вероятности, относятся и показания всех остальных свидетелей, служащих при Обуховской больнице: Николаева, Мамашиной и д-ра Гейкинга. Затем мы открываем с первого взгляда весьма серьезное противоречие между показанием д-ра Германа и показанием свидетеля Станевича: свидетель Станевич утверждает, что Лейхфельд дал положительное объ-

яснение о том, как случилось происшествие, что он обвинил Рыбаковскую не только в совершении самого выстрела, но и в совершении его умышленно, причем объяснил некоторые подробности того, как она совершила выстрел. Как я уже сказал, мы лишены одного весьма важного средства для проверки показания Станевича; он спрошен сегодня в первый раз; если бы он был спрошен при предварительном следствии, то мы имели бы возможность сличить его показание, данное тогда, с тем, которое мы слышали сегодня и тогда, может быть, открыли бы между его показаниями такое же противоречие, как и в показаниях Николаева; этой возможности мы лишены, во должны предположить, что свидетель Станевич через 2 года и 8 месяцев после происшествия, не будучи о том спрошен прежде, не мог сохранить все до крайности мелкие подробности. Кроме того, это показание, в том виде, как оно является перед вами, несогласно с показанием д-ра Германа. По объяснению д-ра, умершему были предложены только три вопроса, из которых, собственно, к обстоятельствам, составляющим предмет настоящего дела, относится только один вопрос, именно вопрос о том, каким образом была нанесена рана, на который Лейхфельд ограничился ответом, что выстрел был сделан не им самим, а Рыбаковской. Если припомнить, что показывал Николаев на предварительном следствии, и если обратить внимание на показание свидетельницы Мамошиной, которая точно также не могла объяснить, был ли, по показанию Лейхфельда, этот

выстрел сделан умышленно или неумышленно, то нельзя не прийти к тому заключению, что показание Лейхфельда есть именно то показание, о котором почти единогласно говорят д-р Герман, Николаев и Мамошина, и что в этом показании, данном вслед за привозом в больницу, не заключалось ничего, кроме удостоверения факта, никем не отвергаемого, факта совершенно бесспорного, что выстрел был совершен не Лейхфельдом, а Рыбаковской. Таким образом, я считаю себя вправе считать показание Станевича теряющим всю или почти всю свою силу вследствие явных противоречий, замечаемых между ним и показаниями Германа и отчасти Николаева и Мамошиной. Затем нам остаются показания Грешнера, Розенберга и Феоктистова. О том, к какому периоду времени относятся эти показания, когда происходили разговоры между Розенбергом, Феоктистовым и Грешнером, с одной стороны, и Лейхфельдом – с другой, то есть те разговоры, о которых показывают эти свидетели, – об этом обстоятельстве я буду иметь случай говорить после, теперь же ограничусь указанием одного весьма серьезного противоречия, которое замечается между этими показаниями. По объяснению Феоктистова, Лейхфельд сказал ему, что Рыбаковская выстрелила в него сразу, что она совершенно неожиданно появилась перед ним и вслед затем неожиданно последовал выстрел; по объяснению же Грешнера или Розенберга, рассказ Лейхфельда об этом предмете был совершенно Другой: Лейхфельд не говорил, что выстрел был сделан сразу, напро-

тив того, объяснял, что она несколько раз к нему подходила, несколько раз прицеливалась, говорила ему даже шутя, что выстрелит в него, и только затем последовал выстрел, причем она заряжала пистолет, вкладывала шомпол на его глазах. Таким образом, мы видим между показанием Феоктистова и показаниями Розенберга и Грешнера разноречие весьма существенное, касающееся именно одной из самых важных подробностей того, как случилось происшествие, по словам Лейхфельда, которые передают эти свидетели. Таким образом, господа присяжные заседатели, этот первый образ показаний, данных по поводу слов, сказанных Лейхфельдом, должен, мне кажется, привести к тому убеждению, что показания эти ни к какому твердому, положительному выводу привести не могут, что они не только не могут заменить собой показание, которое было бы подписано самим Лейхфельдом, но даже не могут сравниться с ним. Затем между показанием лица, данным им формально перед судебной властью, с знанием, что это показание будет иметь характер улики, и словами лица, сообщающего сведения в частном разговоре, есть громадная разница. Когда я даю формальное показание перед судебной властью, тогда я взвешиваю каждое мое слово, в особенности по такому важному предмету, как настоящее дело; когда же я говорю с частным лицом, мне нет надобности обдумывать, взвешивать каждое слово, я могу высказывать свои предположения и выдавать их за факты, в моих глазах очень достоверные, я могу напирать

на такие обстоятельства, в которых сам несовершенно убежден. Таким образом, если бы Лейхфельд давал свое показание перед судебной властью или перед полицией формально о том, как происходило дело, то весьма, может быть, скажу даже более, наверно, рассказ Лейхфельда представился бы вам совершенно в другом виде, нежели тот, в котором он является теперь, в отрывках, ничем почти не связанных, из показаний свидетелей.

Перейдем затем к показанию Лейхфельда в том виде, как оно представлено вам товарищем прокурора, – в том виде, в каком он извлек его из различных противоречивых показаний свидетелей. Он дает этому показанию полную веру и основывает на нем все свои заключения прежде всего потому, что не видит ни малейшего основания сомневаться в правдивости слов Лейхфельда. Я точно так же далек, господа присяжные, от того, чтобы на человека умирающего, на человека, ничем не запятнанного, бросать какое бы то ни было подозрение, но не могу не сказать, что мнение господина товарища прокурора о Лейхфельде, как о человеке, безусловно, добром, безусловно, правдивом, представляется основанным на данных довольно шатких. Я слышал из показания Розенберга только одно, что Лейхфельд был характера слабого, больше я ничего не слышал; мне кажется, что он не говорил о доброте Лейхфельда, но положим даже, что говорил, – во всяком случае, отправляясь от этого показания, так сказать, ставить Лейхфельда на тот пьедестал, на кото-

рый ставит его товарищ прокурора, мне кажется, нет достаточного основания. Повторяю, что я далек от мысли бросать какое-либо подозрение на Лейхфельда, я даже убежден, что он говорил совершенно справедливо, но обращаю внимание, во-первых, на то, мог ли он, давая свои объяснения, говорить вполне сознательно, во-вторых, мог ли он, говоря с разными лицами о том, как происходило происшествие, быть совершенно свободным от всяких заранее навязанных ему другими или составленных им самим предположений.

Что касается до показаний Грешнера и Феоктистова, то мне кажется, что мы не только можем, но должны их совершенно отбросить. Вы помните, что Грешнер объясняет, что Лейхфельд рассказывал ему подробности происшествия накануне или в самый день смерти; вы знаете между тем из скорбного листа, что как в день смерти, так и накануне и даже за три или за два дня перед тем покойный Лейхфельд не был в полном уме и здравой памяти; сознание его было неясно, он бредил. Мы имеем по этому предмету показание эксперта Майделя, из которого товарищ прокурора хочет вывести заключение, что бред не был нисколько не совместим с показанием совершенно точным и определенным о том, как совершилось происшествие; но предположение эксперта есть только предположение: он не следил за болезнью Лейхфельда, не видел его. Впрочем, он и не говорит определенно, в какой степени Лейхфельд в последний день жизни был в здравом уме. Для нас достаточно совершенно того, что

в 7 часов вечера, за 4 часа до смерти, сознание Лейхфельда было неясно. Заметьте, что, по объяснению скорбного листа, ничем не доказано, чтобы перед тем сознание его было ясно; как видно из скорбного листа, наблюдения над больным делались и записывались три раза в день, таким образом, записывалось только то, что обнаруживалось в самый момент наблюдения; что же происходило между этими наблюдениями, о том в скорбном листе не может быть упомянуто, за исключением случаев, которые так важны, что на основании слов окружающих должны быть записаны в скорбный лист.

Таким образом, мы не имеем основания утверждать, что сознание больного помрачилось только в 7 часов вечера и не помрачалось раньше; напротив того, мы имеем возможность думать, что оно помрачалось и гораздо ранее того дня, когда следы этого помрачения в первый раз обнаружилились и были занесены в скорбный лист.

Эксперт Майдель показал вам, что лихорадочное состояние, сопровождаемое бредом, неясными представлениями, обнаруживается прежде всего в учащенности пульса; у человека таких лет, каких был покойный Лейхфельд, пульс от 85 до 120 может считаться лихорадочным, но не чрезмерным, затем сверх 120 должен считаться лихорадочным в полной мере. Из скорбного листа мы видим, что 23 февраля, на другой день после происшествия, пульс его был 126 при всех наблюдениях, сделанных в этот день; затем в продолжение следующих дней пульс спустился на 108, оставаясь, таким

образом, все-таки далеко выше нормального, а 27 февраля, именно в один из тех дней, когда могло произойти свидание Лейхфельда с Грешнером, возвысился до 132, то есть, значит, превысил ту мерку, которая, по объяснению эксперта, отделяет пульс лихорадочный обыкновенный от пульса лихорадочного полного.

Таким образом, мы видим возможность на основании скорбного листа предположить, что лихорадка, сопряженная с бредом и неясными представлениями, действительно была у Лейхфельда гораздо ранее последнего дня жизни. Из этого всего я вывожу, во-первых, что показание Грешнера, как относящееся к последнему дню жизни Лейхфельда, должно быть вполне устранено, так как относительно этого дня не может быть никакого сомнения, что Лейхфельд не обладал вполне своими умственными способностями. Показание Феоктистова я также устраняю; вы помните, что Лейхфельд рассказывал ему о событии не через 4 или 5 дней после поступления в больницу, как объясняет товарищ прокурора, а через 7 или 8 дней, – это значит 2 марта, то есть в один из тех дней, когда у больного, даже по показанию скорбного листа, уже был бред. Таким образом, показание это, мне кажется, также должно быть устранено или, по крайней мере, потерять значительную часть своей силы.

Остается только показание Розенберга. Относительно этого показания прежде всего следует заметить, что, насколько не отвергая его истинности, я нахожу, что оно за-

ключает в себе такие черты, которые говорят, может быть, более в пользу подсудимой, нежели против нее: во-первых, Розенберг показал положительно, что о подробностях происшествия он говорил с Лейхфельдом, собственно, только один раз; когда происходил этот разговор, мы не знаем; может быть, что он происходил в один из тех дней, когда Лейхфельд находился в лихорадочном состоянии и не мог отдавать себе ясного и полного отчета в том, что происходило. Затем несколько раз происходили между Розенбергом и Лейхфельдом разговоры только о тех причинах, которые могли побудить Рыбаковскую сделать выстрел в Лейхфельда. Вы знаете, что Лейхфельд на этот вопрос Розенберга, повторенный несколько раз, давал постоянно один и тот же ответ, а именно, что он не знает, не подозревает, даже и не может дать себе отчета в том, какая причина побудила Рыбаковскую к совершению этого поступка. Мне кажется, что именно это обстоятельство служит доказательством тому, что Лейхфельд не был даже убежден в том, что Рыбаковская совершила выстрел умышленно; если бы он был убежден в этом, то, без сомнения, не мог бы затрудниться в объяснении побудительной причины поступка Рыбаковской и мог бы приписать его, как приписывает обвинительная власть, той злости, которая появилась в Рыбаковской вследствие решимости Лейхфельда расстаться с нею; но он даже не пробует представить такое объяснение, он положительно говорит, что не понимает причину поступка обвиняемой, и показы-

вает этим самым, что в его глазах убеждение относительно умышленности выстрела далеко не было так твердо, как теперь показывают свидетели.

Затем товарищ прокурора несколько раз указывал на то, что умерший Лейхфельд был человек слабого характера, легко подчинявшийся чужому влиянию. По этому поводу я прошу вас припомнить, что Лейхфельд, вслед за привозом его в больницу, был разлучен с Рыбаковской, видел ее всего только один раз, когда она приезжала вместе с Белавиным, что затем он видался почти каждый день с Розенбергом и Грешнером, таким образом был совершенно изъят из-под влияния Рыбаковской и отдан под влияние лиц, враждебных Рыбаковской. Очень может быть, что именно вследствие своего характера, вследствие неясности представления он вынес из разговора с этими лицами то сознание, которого не вынес из подробностей происшествия. Под влиянием, с одной стороны, своего слабого характера, с другой – Грешнера и Розенберга, которые, без сомнения, старались представить ему Рыбаковскую в самом черном свете, у него действительно мало-помалу составилось не убеждение, а предположение, что Рыбаковская стреляла умышленно. Затем, – продолжает товарищ прокурора, – при той доброте (впрочем, недоказанной), которой отличался Лейхфельд, нельзя допустить, чтобы он так жестоко поступил с Рыбаковской, чтобы оттолкнул ее от себя, чтобы не хотел ее видеть. При этом товарищ прокурора делает одну большую фактическую ошибку: он го-

ворит, что когда Белавин приехал вместе с Рыбаковской, то Лейхфельд просил, чтобы ее близко к нему не подпускали. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что эта просьба была заявлена не самим Лейхфельдом, а доктором, с которым она говорила. Доктор мог думать, что слишком продолжительное, слишком близкое объяснение Лейхфельда с Рыбаковской повлияет вредно на больного, и потому мог требовать, чтобы Рыбаковская не была близко допускаема. Таким образом, требование, на которое ссылается товарищ прокурора, исходило не от Лейхфельда. Но припомните, что, по мнению самого товарища прокурора, в первый момент после события, при котором кто-нибудь от неосторожности другого лица пострадал так сильно, под, первым впечатлением со стороны пострадавшего возможно негодование, возможно неудовольствие против того лица, – а Лейхфельд виделся с Рыбаковской именно только под влиянием этого первого впечатления: единственное свидание между ними, о котором мы знаем из показаний свидетелей, происходило именно вслед за привозом его в больницу; второе свидание было тогда, когда Рыбаковская приехала в больницу с Белавиным, но о подробностях этого свидания мы не знаем ничего. Может быть, что Лейхфельд не рассмотрел даже, что это была Рыбаковская, не мог себе дать ясного отчета, чего она желает; может быть, он отнесся бы к ней не так, когда бы пришел в себя, как отнесся в этот раз, в особенности, если бы в течение нескольких дней не находился исключительно под влиянием

ем лиц, враждебных Рыбаковской. Во всяком случае из этого обращения Лейхфельда с Рыбаковской мы не имеем права делать никаких выводов против нее. Продолжая доказывать достоверность показания Лейхфельда посредством сличения его с другими обстоятельствами настоящего дела, товарищ прокурора указывает, между прочим, на то, что показание Лейхфельда о пистолете подтвердилось, что действительно, как он объяснял в больнице, пистолет накануне не был заряжен, и что потому он мог отнестись спокойно к попыткам, которые делала Рыбаковская. Действительно, обстоятельство о том, что пистолет не был заряжен накануне, подтвердилось, но оно подтвердилось преимущественно из слов самой Рыбаковской, которая сама показывает, что действительно она зарядила пистолет утром 22 февраля на глазах Лейхфельда, следовательно, она как будто бы сама дает против себя орудие. Я обращаю ваше внимание на это обстоятельство, между прочим, потому, что из него можно вывести заключение о том, что Рыбаковская совершила свой проступок с заранее обдуманном намерением, и действительно, мне кажется, что в настоящем деле нет середины: нужно или признать, что она совершила убийство с заранее обдуманном намерением, или же нужно признать, что она совершила его по неосторожности; для предположения, что она совершила это преступление в внезапном порыве, не остается места, потому что как из показания Рыбаковской, так и из показания Лейхфельда видно, что между заряджением писто-

лета и выстрелом прошел известный промежуток времени. Я мог бы еще понять, что предположение о производстве Рыбаковской выстрела под влиянием внезапного негодования за то, что он решился ее оставить, могло вам представиться довольно вероятным, но я не думаю, чтобы вы могли допустить, чтобы вследствие решимости Лейхфельда расстаться с нею у нее могло возникнуть такого рода намерение, которое она имела время достаточно обдумать, и тем не менее, привела его в исполнение. Для того, чтобы предположить в Рыбаковской заранее обдуманное намерение совершить то преступление, в котором она обвиняется, мне кажется, в настоящем деле решительно нет основания. Сознание ее в том, что она зарядила пистолет, показывает именно то, что она не считает этого обстоятельства уличающим ее в преступлении, что она в этом отношении показывает совершенную правду, хотя это обстоятельство по самому свойству своему при известной обстановке могло быть обращено против Рыбаковской.

Я ответил, кажется, на все те соображения, которыми товарищ прокурора старался доказать правдоподобность, вероятность показаний Лейхфельда, переданных свидетелями; я доказал, кажется, что нет никакого положительного основания утверждать, что это показание дано в полном уме и здравой памяти, что он обладал полным сознанием того, что говорил. Еще менее оснований предполагать, что он давал то показание, зная всю важность его, зная, что оно может иметь

тяжкие последствия для Рыбаковской. Если даже допустить, что он говорил все то, что было показано на суде свидетелями, если допустить, что ни Грешнер, ни Розенберг не переменили ни одной черты из того, что сказал Лейхфельд, то, тем не менее, нельзя забывать, что все это было сказано ими только в частном разговоре и что, следовательно, как для лиц, слушавших Лейхфельда, так и для него самого было весьма трудно отделить достоверное от недостоверного, убеждения от предположений. Далее товарищ прокурора переходит к показанию Рыбаковской, но я считаю нужным, прежде чем последовать за ним, указать на некоторые обстоятельства, им не упомянутые, которые, мне кажется, имеют весьма существенное значение в настоящем деле; я напому, вам, что Рыбаковская не скрывала перед происшествием, что у нее есть пистолет и что она умеет из него стрелять, — это она доказала в присутствии свидетеля: не далее, как за несколько часов до происшествия: поздно вечером 21 февраля она стреляла из незаряженного пистолета в присутствии дворника. Если предположить, что у Рыбаковской было хоть что-нибудь похожее на намерение убить Лейхфельда, то возможно ли допустить, чтобы она показывала, во-первых, что пистолет не заряжен, и, во-вторых, что она умеет стрелять. Без сомнения, нет. Затем обращаю ваше внимание на рассказ дворника Феоктистова о том, что происходило после выстрела. Мы знаем из этого рассказа, что Лейхфельд, получив рану, побежал в дворницкую, что вслед за ним при-

шла Рыбаковская; мы знаем, что Лейхфельд был в это время в более или менее сознательном состоянии: он мог сам идти, его свели, а не отнесли в квартиру; затем, во-первых, Рыбаковская посылает дворника за доктором и, следовательно, дает ему средство немедленно обнаружить преступление, если только оно было совершено; во-вторых, Лейхфельд, который был в это время в сознательном или почти сознательном состоянии, соглашается остаться наедине с Рыбаковской, то есть соглашается остаться вдвоем с тем лицом, которое за несколько минут перед тем нанесло ему, как говорят, умышленно смертельную или, по крайней мере, очень тяжкую рану. Положим, что он ничего не мог говорить, но неужели вы думаете, что он не мог бы показать каким-нибудь жестом или знаком, что не хочет остаться наедине с Рыбаковской, что желает, чтобы при нем остался дворник или какое-нибудь другое лицо. Можно ли допустить, чтобы он рисковал остаться с тем лицом, которое совершило преступление и которому не удалось его окончательно совершить. Мне кажется, уже это обстоятельство указывает, что Лейхфельд в то время не был убежден в виновности Рыбаковской и не мог быть убежден в ней впоследствии, потому что не представлялось никаких новых данных, которые могли бы привести его к такому убеждению.

Здесь мы встречаемся с показанием Рыбаковской, с тем, что она говорила как доктору, так и полиции, что. Лейхфельд выстрелил в себя сам; мы встречаемся с показаниями осталь-

ных свидетелей, что Лейхфельд говорил, что она показывала так вследствие уговора, состоявшегося между ним и Рыбаковской в то время, когда они остались наедине.

Нисколько не отвергая показаний свидетелей, мне кажется, что этому обстоятельству можно дать гораздо более простое объяснение, нежели то, которое дает товарищ прокурора. Очень понятно, что вслед за этим происшествием, потерявшись совершенно от испуга, в особенности от сознания тех предположений, которые могут против нее составиться, г-жа Рыбаковская желала сначала скрыть это дело; очень может быть, что она действительно просила Лейхфельда показать, что он выстрелил сам в себя нечаянно. Мне кажется, что это обстоятельство решительно все говорит против нее; если бы она стояла на этом показании долго, если бы она упорствовала в нем, тогда, может быть, могло бы возникнуть сомнение по этому предмету. Но мы знаем из показаний Станевича и Миллера, что в тот же самый день, когда случилось происшествие, она призналась в том, что выстрел был сделан ею, и дала показание, совершенно в главных чертах сходное с тем, которое вы слышали сегодня на судебном следствии. Таким образом, заpirationство Рыбаковской никак не могло и не может доказывать того, что из него выводит товарищ прокурора. Затем, продолжая опровергать показание Рыбаковской, продолжая доказывать его внутреннюю несостоятельность, неправдоподобность, товарищ прокурора указывает, между прочим, на противоречие между показаниями

Рыбаковской и свидетеля Розенберга; Рыбаковская утверждает, что Лейхфельд, возвратясь домой, 21 февраля объявил ей свою решимость расстаться с ней и мотивировал эту решимость теми угрозами, которые ему будто бы делал Розенберг, а Розенберг, со своей стороны, показывает, что никаких угроз и упреков не делал, что разговор между ними был самый дружеский и что они расстались совершенно спокойно. Мне кажется, что это противоречие только мнимое, что оно, не касаясь прямо показаний Розенберга, несколько не опровергает показания Рыбаковской; это противоречие объясняется, по всей вероятности, тем, что Лейхфельд, желая найти благовидный предлог своей решимости расстаться с Рыбаковской, взвалил главную часть ответственности на другого человека, сказав ей, что Розенберг требовал разрыва его с ней; вот как просто объясняется это кажущееся противоречие. Без сомнения, я не кладу этим никакого пятна на память покойного, потому что такого рода объяснение представляется совершенно понятным, очень естественно желание Лейхфельда избежать слишком сильных упреков при разлуке и потому старание его уверить, что инициатива этой разлуки идет не от него, а от другого лица. Затем товарищ прокурора указывает на другую невероятность показания Рыбаковской: он говорит, что женщина, решившаяся на самоубийство, два раза в себя стрелявшая, два раза не успевшая привести в исполнение свое намерение, скорее, конечно, должна была стараться привести это намере-

ние в исполнение, чем перейти к такому средству доказать свое намерение, как стрельба в печку или свечку и т. д. Товарищ прокурора упускает при этом из виду одно обстоятельство: можно твердо решиться на самоубийство, можно приступить к исполнению своего намерения, но затем, когда это намерение два раза, по независящим от того лица обстоятельствами, не исполняется, решимость может остыть в лице самом энергическом. Мы знаем множество примеров, когда самоубийцы, решившись твердо лишиться себя жизни, побуждаемые к тому достаточными основаниями, останавливались в исполнении своего намерения именно потому, что первая попытка исполнить его оставалась без успеха. Очень может быть, что намерение Рыбаковской лишиться себя жизни было совершенно твердо, но когда это намерение не исполнилось, она могла потерять ту искусственную энергию, которая ее поддерживала, и могла перейти к другому настроению. Таким образом, той неверности, которую видит в показании Рыбаковской товарищ прокурора, я никоим образом признать не могу. Затем, стараясь поколебать вообще доверие, которое вы можете иметь к показанию г-жи Рыбаковской, товарищ прокурора указывает на то, что в то время, когда Рыбаковская, по своему объяснению, давала будто бы чистосердечное показание о происшествии, она показала совершенно фальшиво о своем звании и фамилии. Оправдание Рыбаковской, заключающееся в том, что она сделала это для того, чтобы скрыть от своих родственников то несчастное

положение, в которое была поставлена, товарищ прокурора устраняет тем, что г-жа Рыбаковская уже и прежде называла себя фальшивыми именами, ссылаясь при этом, между прочим, на показания Дубровина, видно, что Рыбаковская называла себя фальшивыми именами только в шутку; что она до дня происшествия никогда не имела серьезного намерения называть себя именем, ей не принадлежащим. Дубровин показывает, что при объяснении, которое происходило между ним и Лейхфельдом, Рыбаковская раскрыла свое настоящее происхождение; задолго до происшествия объяснила, что отец ее бедный чиновник, скрывшийся неизвестно где. Письма на имя Собянской княжны Омар-Бек, найденные при обыске, нисколько не опровергают, что она называла себя чужими именами только в шутку; мы не знаем, что было в этих письмах: может быть, они были писаны ею самою также в шутку; мы знаем только, что она сама при обыске не заявляла, что эти письма писаны ей, а сказала только, что они ей принадлежат; поэтому нет никакого достаточного основания думать, что она до происшествия обдуманно, с какой-нибудь целью принимала чужую фамилию. Что она приняла другую фамилию в начале следствия, что она дала ложное показание о своем происхождении – это совершенно справедливо, но это показание повредило прежде всего ей самой, потому что имело последствием значительное замедление дела. Если припомнить показание Шипунова, что Рыбаковская в продолжение нескольких лет жила в Шемахе

со своюю бабушкой, сестрами и т. д., если припомнить, что она оставалась там с 1857 до 1864 года, когда уехала в Астрахань, а потом в Петербург, то становится весьма вероятным объяснение подсудимой, что она хотела скрыть несчастное происшествие от своих родственников и потому приняла на себя фамилию, ей не принадлежащую. Из этой решимости, которую подсудимая теперь оплакивает, без сомнения, произошли логическим путем все те последствия, на которые указывает товарищ прокурора, как на доказательство нравственной испорченности Рыбаковской. Однажды сказав, что она магометанка, что она княжна Омар-Бек, она стояла на этом показании для того, чтобы, опровергнув его, не дать в руки судебной власти новой против себя улики; став однажды на эту почву, она дошла, наконец, путем совершенно логическим, хотя и весьма грустным, до вторичного крещения. Она предпочла, конечно к сожалению, совершить вторичное принятие православной веры, нежели сказать свое настоящее имя; таким образом, для того, чтобы спасти свое имя от тяжкого нареkania, г-жа Рыбаковская решилась довести свое молчание, свое заpiresательство до конца, до крайних последствий.

В доказательство того, что словам г-жи Рыбаковской нельзя придавать никакой веры, товарищ прокурора указал, между прочим, на то обстоятельство, что она показывала сегодня перед вами, что добровольно явилась в полицию и что это показание будто бы опровергается свидетелями Розен-

бергом и Станевичем; но припомните, что оно вовсе не опровергается этими свидетелями: Розенберг и Станевич показывают, что они не отдавали лично никакого приказа, не делали никакого распоряжения относительно ареста Рыбаковской; следовательно, то обстоятельство, одна ли вышла Рыбаковская из больницы или вместе с городовым, остается до сих пор нераскрытым.

Сводя теперь в одно целое все сказанное мною, я нахожу, что показание Лейхфельда, служащее, как я уже сказал, единственным серьезным основанием к обвинению, представляется в таком виде, в каком решительно мы не можем дать ему полного доверия; что показания свидетелей, объясняющих, в чем заключались разговоры их с Лейхфельдом, до такой степени разноречивы, что основываться на них не представляется никакой возможности; что есть полная возможность предполагать, что, по крайней мере, значительная часть этих разговоров происходила в то время, когда Лейхфельд не обладал вполне умственными способностями; что затем эти разговоры, не облеченные в законную форму, происходившие совершенно частным образом, могли не выражать собою положительного убеждения Лейхфельда, а только предположение, – предположение, составившееся отчасти под влиянием болезненного состояния, в котором он находился, отчасти под влиянием того предубеждения, которое родилось с самого начала против Рыбаковской и которое поддерживалось, с одной стороны, отсутствием ее, с дру-

гой – постоянным присутствием Грешнера и Розенберга; что показание Лейхфельда не подтверждается никакими другими обстоятельствами, имеющимися в настоящем деле; что показание Рыбаковской не только не опровергается никакими достаточными основаниями, а, напротив, подтверждается всем ходом дела, подтверждается тем, что Лейхфельд не оттолкнул от себя Рыбаковскую немедленно после происшествия, а позволил ей вэсти себя назад в квартиру и остаться с ним наедине. На основании этих соображений я прихожу к тому заключению, что никаких оснований, которые могли бы поселить в вас уверенность в виновности Рыбаковской, настоящее дело не представляет.

Затем, присяжные заседатели, товарищ прокурора старался набросить перед вами тень на самую личность Рыбаковской и объяснял все те мотивы, по которым он считает невозможным, с одной стороны, поверить ее словам, с другой стороны, считает возможным поверить почти, безусловно, всем тем обвинениям, которые против нее возводятся. Прежде всего мне кажется, что жизнь подсудимых до преступления, в котором они обвиняются, какова бы она ни была, должна оставаться совершенно в стороне как от судебных прений, так и от судебного следствия, если только в этой жизни нет ничего такого, чтобы прямо и непосредственно относилось к тому деянию, в котором они обвиняются. Основывать ваше решение в таких делах, как настоящее, на том, что подсудимая прежде происшествия вела жизнь более или менее

безнравственную, более или менее предвзятую, значило бы класть в основание вашего решения такие мотивы, которые, собственно говоря, к нему никакого отношения не имеют. Есть ли возможность думать, что от безнравственной жизни, до чего бы ни была доведена эта безнравственность, возможен всегда переход к такому преступлению, в котором она обвиняется и которое заключается в заранее обдуманном посягательстве на жизнь лица, с которым она находилась в близких отношениях. Если бы о жизни Рыбаковской до происшествия были собраны сведения, с одной стороны, гораздо более достоверные, с другой стороны, гораздо более уличающие ее, то и тогда совершенно невозможно бы было, совершенно против той обязанности, которая на вас лежит, делать заключения на основании этой прошедшей жизни о возможности совершения того преступления, в котором она обвиняется. Но посмотрим, где же те ужасные деяния, которые, по мнению товарища прокурора, позволяют составить о ней такое мнение, какое он составил. Я не отвергаю, и подсудимая сама не отвергает того, что жизнь ее до ее ареста не была вполне правильной, но в ней нет той бездны безнравственности, о которой говорил товарищ прокурора, той потери нравственного чувства, которую он предполагает. Мы знаем только два ее падения и больше ничего; заключать из этого, что она окончательно испорчена и что она способна на то преступление, в котором ее обвиняют, мне кажется, совершенно невозможно. Мы знаем, что она находилась в

коротких отношениях с Дубровиным, но мы знаем вместе с тем, что эти отношения имели характер довольно серьезный, что Дубровин хотел на ней жениться, следовательно, то предположение, которое высказал товарищ прокурора относительно происхождения этой связи, напирая на слове «на бульвар», предположение это должно совершенно исчезнуть. Связь, начавшаяся таким образом, как, по мнению товарища прокурора, высказанному в этом намеке, началась связь Дубровина, не может окончиться женитьбой. Затем, что связь Рыбаковской с Лейхфельдом началась под влиянием искренней привязанности, это, мне кажется, доказывается тем, что для этой связи она пожертвовала той верной будущностью, которая ей представлялась. Мы знаем из показания Дубровина, что он предлагал ей на выбор или оставить Лейхфельда или отказаться от него; мы знаем, что Рыбаковская отказалась от своего жениха для того, чтобы начать свои короткие отношения к Лейхфельду. Это доказывает, мне кажется, что связь ее с Лейхфельдом не была плодом того минутного увлечения, на которое указывает вам товарищ прокурора, а, по всей вероятности, обуславливалась искреннею привязанностью, которая раньше ослабела со стороны Лейхфельда и которая до самого конца не ослабевала со стороны Рыбаковской. Затем товарищ прокурора идет еще дальше и, не высказывая явно своего мнения, делает намек на легкомысленное поведение ее в тюрьме. Я напомним вам только одно, что Рыбаковская содержится в тюрьме 2 года и 8 месяцев,

что она поступила в тюрьму 22 лет, после 3 или 4 лет одинокой жизни, которая, конечно, не могла подготовить ее дать надлежащий отпор всему, что она должна там встретить. Таким образом, бросать в нее камнем за такие легкомысленные поступки, которые были ею совершены в тюрьме, по моему мнению, более, нежели несправедливо. Вы помните, присяжные заседатели, что Рыбаковская обвиняется еще в легкомысленном, даже более чем легкомысленном, переходе в христианскую веру, тогда как на самом деле она была христианка. Но это объясняется также прежнюю жизнью Рыбаковской; в деле есть сведения, которые не были заявлены товарищем прокурора, но которых он, без сомнения, не может отвергнуть, что отец Рыбаковской в то время, когда ей было уже 12 лет, был предан суду за жестокое обращение со своей женой, последствием которого был выкидыш ребенка. Вот что Рыбаковская видела до 1855 года, когда ей было 12 лет. Затем она поселилась в семействе, из которого могла вынести лучшие убеждения, но эти лучшие убеждения, по всей вероятности, не изгладили того, что она видела и слышала прежде.

Если вы примете в соображение прежнюю жизнь подсудимой и то влияние, которое она встретила в тюрьме и которому подвергалась в течение всего своего заключения, то, по всей вероятности, вы не отнесетесь к ней так неумолимо, строго, как отнесся товарищ прокурора, вы признаете, ее женщиной легкомысленной, но не более. А от легкомыс-

лия прийти к заключению о возможности совершения такого преступления, в котором обвиняется подсудимая, преступления над лицом, которое было ей так близко, для сохранения связи с которым она пожертвовала обеспеченную будущностью, нет достаточно данных, нет оснований, которые бы допускали подобное заключение. Таким образом, как вы ни посмотрите на дело, с точки ли зрения личности г-жи Рыбаковской, с точки ли зрения вероятности, возможности совершения ею того преступления, в котором она обвиняется, или с точки зрения тех фактических данных, которые представило вам сегодняшнее судебное следствие, вы должны будете прийти к тому заключению, что нет достаточных оснований произносить обвинительный приговор в том важном преступлении в котором ее обвиняют, нет основания обвинять ее в, чем-либо больше неосторожности. Чистосердечный рассказ Рыбаковской о ее неосторожном действии, мне кажется, вполне подтверждается экспертом Филипповым, который признал возможность того, что курок, не доведенный до боевого взвода, может вследствие неосторожности сорваться и произвести выстрел. В каком положении был курок в то время, когда Рыбаковская спустила его, она ничего не может сказать, да и можно ли от нее ожидать ясного и положительного отчета, в таком ли настроении духа она была в то время, когда стреляла. Она сама говорит, что была сильно взволнована, что руки ее до такой степени дрожали, что она не могла взвести курок. Наконец, я вам напом-

ню еще одно обстоятельство, а именно – показание эксперта Майделя, показание весьма важное, о том, что по свойству тех признаков, которые он нашел на рубашке, он не может никак предположить, чтобы выстрел бы сделан в упор. Это обстоятельство важно не только потому, что подтверждает показание подсудимой, но и потому, что опровергает показание Розенберга. Вы знаете из показания Майделя, что выстрел был произведен не в упор, а на расстоянии не менее 2–4 футов, и расстояние это вполне согласно с теми сведениями о комнате, которые мы имеем. Вся комната шириною в 3 шага, следовательно, если взять в соображение протянутую руку Рыбаковской, то не могло быть менее 2-х шагов. Упомянув об эксперте Майделе, я должен еще коснуться одного обстоятельства, о котором, хотя оно находится в определении палаты, я считал бы лишним говорить, если бы обвинительная власть так настойчиво не указывала на него как при судебном следствии, так и в обвинительной речи, то есть тогда, когда это обстоятельство потеряло последнюю степень вероятности. Вы слышали рассказ о бычачьей крови, которую будто бы пила Рыбаковская, вы слышали, что обвинительная власть видит в этом рассказе новое орудие против Рыбаковской, дающее возможность еще более не доверять всем ее показаниям, но вы, господа присяжные, слышали вместе с тем показание эксперта Майделя, который, мне кажется, окончательно уничтожил весь этот, сам по себе нелепый, невероятный рассказ. Д-р Майдель показыва-

ет, что между кровью, извергнутою кровохарканием, и кровью, извергнутою рвотой из желудка, есть такая разница, которую нельзя не заметить при внимательном рассмотрении, а без сомнения следует предположить, что д-р Свентицкий, пользовавший Рыбаковскую, внимательно рассматривал эту кровь. Кроме того, эксперт Майдель показывает совершенно, вопреки мнению д-ра Свентицкого, а именно, что принятие животной крови не влечет за собой непременно извержения и что кровь эта может точно так же остаться в желудке, как и всякая другая пища. Таким образом, мне кажется, что обстоятельство это должно быть совершенно исключено из тех соображений, которыми обвинительная власть старается очернить личность Рыбаковской.

По всем этим обстоятельствам я прошу у вас, присяжные заседатели, не снисходительного приговора, а полного оправдания в том преступлении, в котором ее обвиняют, и признания ее виновной только в том, в чем она сама признает себя виновной, то есть в неосторожном обращении с пистолетом, несчастным последствием которого была смерть Лейхфельда.

* * *

Суд признал Рыбаковскую виновной в умышленном убийстве и приговорил ее к каторжным работам сроком на 10 лет.